АНКИНА РОДНЯ

Я и раньше замечал, что картошка с поля пропадает. То тут кустик, то там. И, главное, всё вразброс, одна закономерность: лишь бы от дороги подальше. Мне-то и не особо жалко, всё одно потом пыльные мешки грузить в багажник и везти Маринкиной родне: «Мы же сами всё равно не съедим». Но она так этого картофельного вора возненавидела, что вторую неделю не отступается: «Сходи, покарауль!» Боится, наверное, что мать её зимой оголодает без нашего урожая. Пошёл в отказ, а Маринка прищурилась и ласково так спрашивает: «Ты, Серёженька, мужик или ссыкло?»

Посидел-посидел и думаю: а что б и не проследить? Не дело всё-таки, плохо это, воровать. Представил себя в камуфляжном костюме, фуражке и непременно с ружьём за плечами. Ружья во всём доме предсказуемо не нашлось, но на антресоли обнаружился бинокль, дедов ещё, на кожаном ремешке. Таким и прибить можно, если добросишь. Дождался вечера, надел «горку», дождевик на всякий случай, бинокль на шею повесил. Обернулся на треснутое зеркало в дверце шкафа, сам себе понравился и побрёл на дальний усад.

От деревни дотуда километра два по бывшему колхозному полю. До конца деревни шёл всё заборами, заборами. Мы с Маринкой чем хуже? Как решили тут поселиться, тоже заказали себе, глухой, из профнастила. До того у деда забор стоял чуть пониже, дощатый, увешанный по верху горшками и тряпьём. За таким всей жизни не скроешь, но в баню по огороду без порток ходить можно вполне. А с новым забором что хочешь твори, не видно, не слышно.

Вечер тёплый, сухой, с леса тянет пожарищем. Шёл, оглядывался на шорохи, но никого по пути не встретил. Луна светит, что твой фонарь, звёзды колючие, предосенние. Не как днём, конечно, но вполне себе светло. На месте огляделся и понял, что засаду тут устраивать как бы и негде: поле на то и поле, далеко тебя видать. Можно было бы окопаться, но лопаты я с собой не взял, да и как потом объяснять Маринке внезапную яму между грядками с капустой? Пятился вдоль протянутой по границе проволоки и угодил ногой в щель между створок, закрывавших соседскую компостную яму. Компост – вещество органическое, будущая земля, – ни разу не противно. Так я решил и, откинув сколоченную из досок дверцу, аккуратно спустился на прелое месиво из сорняков и ботвы, заправленное настоянной на колорадском жуке водой. Не очень приятное место, но укромное. Затаился, в щель между створками веду наблюдение.

Она пришла за десять минут до полуночи, и я узнал её сразу. Под луной и платок разглядел и извечное пальто, потерявшее уже всякий цвет.

Анка Першина, хоть и считалась блаженной, первой была на деревне красавицей. Я, когда малой был, сто раз слышал об этом и старался представить её девушкой, но никак не выходило в мерзкой бабке с лицом прошлогодней воблы разглядеть хоть что-то живое и свежее. Да и видел я её нечасто. Ни в храм, ни в клуб она не ходила, а в магазине появлялась в первый после открытия час, когда летом все были заняты на огородах, а зимой только ещё завтракали. Когда все сплетни заканчивались, продавщица любила прибавить очередную историю про то, что Анка – «Анка-то!» – снова целую сумку «рыбок » набила или скупила всю манную крупу: – «Пенсия-то – копейки. Куда запасы? Сто лет жить собралась?» Все, конечно, дивились гастрономическим предпочтениям одинокой старушки, но не сильно её осуждали. Мало ли, ну любит баба кашу, но ведь и худого ничего не делает. А вот и зря, получается.

Первого мужа Анки, как говорят, убили на войне. На какой, никто не уточнял. Да и знали о нем в деревне в основном по рассказам соседей. Потом вроде как в доме её на выселках завелся бывший уголовник. Откинулся, пошёл себе искать счастья в окружавших колонию деревнях и нашёл Анку. Но счастье было недолгим. Залез по пьяной лавочке в клуб, вынес старый «Рубин» и вернулся в обстановку более для себя привычную. Анка снова осталась одна, нанималась на сезонные работы, но брали её неохотно, хозяйство тянула с трудом. Вот тогда, как рассказывал мне одноногий Прошка, и стали к ней ходить мужики, помогать. В основном не наши, а с соседних сёл. Я его ещё спросил, откуда ему, калеке, про такое знать, а он только подмигнул и губу нижнюю закусил.

Я в компостную кучу будто бы уже и врастать начал. Медленно ноги погружаются в скользкую прель. Интересно, оно как вообще, отстирывается? Анка уж и лопатой махать перестала, молодую, едва со сливу размером, картошечку мою от земли отряхивает. Я навёл бинокль, пересчитал клубни: семь. Момента лучше не будет, понятно же. Вцепился пальцами в рамку, к которой петли крепятся, вдохнул, поднатужился, как на турнике, и башкой распахнул створки. Не придумал только, дурак, заранее, что кричать буду воровке, только и выдал что радостное: «Опа!»

Анка как стояла, свалилась на межу, сидит, за ботву к сердцу картофельный куст прижимает. Не померла бы бабка, думаю, а то ведь сам виноватым стану. Говорю ей: «Всё нормально, мать, я стрелять не буду. Картошку на родину, но чтоб больше ни-ни». А она всё никак не успокоится. Платок назад, космы серые из-под него, лицо сухое и худое, аж жуть. Подошёл. «Давай, – говорю, – помогу». Она глядит на меня снизу, обе руки вперёд, кукла-Маша-детский-мир. Нагнулся к ней, за подмышки стал поднимать, а она и весит-то, как ведро картошки, будто нет под пальто никакого тела. С испугу пошутил: «И куда это у тебя, мать, всё уходит? Ты ж, как послушать, по десять раз в день себе кашу варишь».

Она толкнула меня в грудь, отряхивает с полы землю. А сама взглядом по низу шарит, куда обронила картофелину. Я первый увидел, возле башмака её, на живую нитку подшитого, поднял. «Так уж и быть, – говорю, – раз выкопала, забирай себе. Обратно всё одно не засунешь». Я надеялся хоть «спасибо» услышать, а вместо этого она мне: «Мало это. Надо ишо». Ну, думаю, старуха совсем обезумела. Твёрдо ей так: «Нет, мать!» А она стоит, и по всему видно, что никуда не собирается. Так мы друг на дружку и пялились. Я первый не выдержал: комары одолели, спать пора, и штаны компостом воняют, скорей бы стащить их с себя. Говорю ей: «Ну? Домой пойдём или как?»

В ответ Анка подняла с земли лопату и с невиданной прытью подковырнула кустик картошки. От наглости такой я все слова растерял.
И что с ней делать? Не драться же мне с немощной старухой? «Эй, мать! А ну брось лопату!» – кричу, машу руками, а она клала с горой на мою волю и частную собственность, ещё два соседних куста выкорчевала. Прямо с ботвой скинула добычу в мятый пакет из «Пятёрочки», лопату под мышку прихватила: «Пойдём».

«Куда, – говорю – пойдём? Я этого так не оставлю». Анка уже по меже шлёпает, как не слышит. Кричу: «Завтра полицию вызову, пусть они сами…»

– Завтра – будет завтра. А сегодня пойдём. Покажу чо.

Захолодало, тишина такая, даже медведки не поют. Только Анкин пакет вперёд-назад мотается, задевает по пути полынь и репей. До дому её нужно всю деревню пройти, это если по главной улице. Но она другой путь выбрала. Как заправский вор, повела меня околицей по едва заметной в осоке тропе. Из-за заборов на нас заводились редкие собаки, но всё чаще мы просто шли в тишине, будто вдоль противошумового заграждения на скоростной автотрассе. Когда заборы закончились, я понял, что мы на месте.

Конечно, не раз, особенно в детстве, я пролетал на велике мимо Анкиного дома, но и в мыслях не было, у нас, мальчишек, останавливаться здесь хоть на пару минут. Взрослые только поддерживали наш трепет, подкрепляя его страшилками про живущих обыкновенно на выселках ведьм и колдунов. Я хоть и вырос теперь, но, честно признаться, едва в штаны не наложил от этого ночного приглашения в гости. Хотя тут ещё поспорить можно, что страшнее: быть заживо сваренным в котле ведьмой или снова услышать от Маринки сомнения в моей половой принадлежности.

Мы подошли к дому, отделённому от остальной деревни хлипким штакетником едва мне по пояс. И вот тут уже я всерьёз стал выглядывать за кривыми яблонями сортир: в окнах горел свет, и я поклясться могу, что видел, как там внутри что-то движется, мечется, скачет. Анка открыла дверь в сени и зачем-то втиснула мне в руки пакет с картошкой:

– На, поди, поди. Отдашь им. Они ох рады будут!

А сама лыбится ещё! Я тоже попробовал улыбнуться, но ничего, кроме идиотского кособокого оскала, не вышло. Из сеней поднялись по скрипучей лестнице в дом. И как только Анка распахнула дверь в горницу, пакет выпал у меня из рук, картошка раскатилась по полу: за длинным самодельным столом, по обе стороны которого были составлены в ряды лавки, стулья и кривые табуреты, сидели и лежали обёрнутые в пёстрое тряпьё здоровенные то ли личинки, то ли черви с человеческими лицами.

Об игошах мне ещё бабушка рассказывала, но я был уверен, что они исчезли после революции и прихода большевиков, не терпевших
нечисти и прочих идеалистских выдумок. Лишь раз в детстве я видел у пруда анчутку, угостил его конфетой, но играть с ним не стал, побоялся, что бабушка заругает.

– Встречайте, папка пришёл! – Анка толкнула меня вглубь комнаты, к столу. Безрукие-безногие закопошились, извиваясь, начали соскакивать со своих мест, поползли мне навстречу, как гусеницы. Они причмокивали, пищали и посвистывали, глядя на меня снизу своими блестящими чёрными глазками. О запахе компоста от одежды своей я тогда уж не вспоминал, потому что в избе вонища стояла неописуемая, будто рота солдат после марш-броска обделалась. Я пятился к двери, но Анка обошла меня и задвинула железный засов:

– Да ты не бойся. Думаш, они своих настоящих папок в лицо не знают? Садись. И вы тоже. Щас жрать дам.

Она указала мне на кресло, в котором, по видимости, обычно сидела сама. Я отодвинул неоконченное вязание и слегка прикоснулся ягодицами к засаленной обивке. Анка собрала картошку в эмалированный таз, поставила его на стол, залила водой. Игоши расползлись по местам и внимательно следили за каждым её движением, изредка отвлекаясь на меня.

– Знаш, кто такие?

Я кивнул.

– Ну вот. И как их прокормить, таку орду?

Попробовал пересчитать безруких-безногих, Анка продолжила:

– Ты парень хорошай. Сколько лет не спрошал за урожай.

Я подумал, что впервые заслужил похвалу за собственную лень и нерачительность.

– Всё им. Мне много ли чо надо.

Самый крупный из игош, обёрнутый в свитерный рукав и подпоясанный атласной лентой от торта, подполз было к тазу, но Анка щёлкнула его по носу:

– Мишка, а ну брысь! – она взяла губку и стала отмывать картошку от налипшей земли.

– Это старшой, Игошка Мишка. Как уж я его ждала! Загодя имя придумала. Всё говорят, шо нельзя. Не доходила три месяца, нежилец был. Пётр – царство ему небесное – прикопал его за домом, вот он и повадился у меня столоваться.

Она замолчала, перекладывая картошку в пожелтевший салатник. Нужно было поддержать беседу, я и спросил, невежливо ткнув пальцем в игошу поменьше, запелёнатого в постельное бельё с розочками:

– А этот кто?

Анка подняла голову:

– Игошка-второй, разбойничий сын. На бане угорела, выкинула. Там и лежит, за баней. А этот Игошка Зимний, – она кивнула на свёрток с малиновым личиком, – чой-то его обсыпало опять, смородин, чо ль, нажрался, а?

Игошка не ответил, но сжался пружиной и уменьшился вдвое.

– Ну и сам смотри, дальше чо? Игошка Юбилейный – двадцать лет Победы было в тот год. Это уж дальше я сама наладилась, когда горчицей, когда дустом. – Она заглянула мне в лицо и продолжила, оправдываясь: – Горько, конечно, горько. Но куда дитё без мужика, без родни, без помочи. С работой отказали, чо на птицефабрике, чо в колхозе, в частну не взяли. Говорят, на башку убогая. Так и пошло. Вон сидит, вишь? Игошка Иностранец. Папка его торгаш был, из заграницы.

Называя имена, Анка раскладывала мытые сырые клубни по тарелкам безруких-безногих. Они всасывали их беззубыми ртами и проглатывали целиком.

– А эти: Игошка Строитель, Игошка Тракторист, Игошка Шофёр и Игошка Коммерсант, перестроешный.

Я смотрел, как пустеет салатник с моей картошкой.

– Я-то всё думала, чо если не у дома, так они не найдут меня. А вон
как. Не сразу, но все приблудились. Ишь, зайцы! – Анка ущипнула Игошку Строителя за щеку.

– И что, – спрашиваю, – их каждый день вот так кормить надо?

Анка засмеялась сквозь сухой кашель:

– А тебя самого не каждый, чо ли?

Она подняла на руки Игошку Мишку, сожравшего уже свою порцию, и протянула мне:

– На, ты чо? Дитё ни разу не видал?

Я принял извивающееся тельце, уложил, как, бывало, племянника, на локоть левой руки. Безрукий Безногий рыгнул и улыбнулся мне.

– А как же вы... – не давал мне покоя вопрос, – как же вы их от всей деревни скрываете?

Анка села на освободившееся на скамейке место:

– Чо скрывать? Будто кому дело есть. Поставили себе заборов. Шоб вас никто не видал, ага. Да сами как ослепли.

Мы сидели, Игошка Мишка сосал кожаный ремешок бинокля, рука затекала, когда Анка, спохватившись, вскочила:

– Тьфу, глупая баба, чаю-то гостю и не дала!

– Ой, что вы, – говорю, – не стоит. Мне уж и домой пора.

Протянул ей младенца, тут же захныкавшего.

– Твоя правда. Спасибо.

– Не за что, – говорю, – вы приходите. Вот так же на огород приходите.

Подумал немного и добавил:

– Вам, может, ещё чего нужно?

Она пожала плечами и отодвинула засов. На пороге уже спохватилась:

– У бабы свой спроси тряпки какие стары. На пелёны им.

Я кивнул.

– Лучше трикотажны. А то хлопок-бязь жёстко им, натират.

Светало уже, и пел соловей. Пока шёл, ботинки от росы стали блестящие.

У своего дома остановился, открыл калитку, но заходить не стал. Приподнялся на цыпочки, положил пальцы на острую верхнюю кромку забора, потянул на себя. Упёрся коленом в ребро профинтила, надавил, продолжая тянуть за макушку, а потом и вовсе повис на слегка подавшемся краешке. Со скрежетом несколько секций заборного полотна начали под моим весом выворачиваться из земли. Подставил ладони, принял их бережно, уложил плашмя на траву. Не такой уж он и тяжёлый, за сегодня управлюсь.

Маринка не проснулась. Чмокнул её в лоб, погладил блондинистые космы.

– Чем это воняет? – прогнусила, шмыгнула носом.

– Ничем, – говорю, – ты спи, спи.

– Выследил вора?

– Да, – говорю, – это зайцы.